

В.А. БАЧИНИН

СОЦИОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ПРОСТРАНСТВО ГУМАНИТАРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Социология литературы — пограничная дисциплина. Она объединяет аналитические потенциалы литературоведения и социологической теории. Ее основные методологические стратегии — институционализм и детерминизм. Она рассматривает литературу как резервуар ценной социальной информации, как эффективный инструмент анализа социальной реальности и как культурное пространство гуманитарных экспериментов.

Ключевые слова: социологическая теория, литературоведение, литературный текст, социология литературы, институционализм, детерминизм.

По общему признанию, в XX столетии, при переходе от модерна к постмодерну, произошли три существенных, стратегических разворота в социогуманитарном знании. Во-первых, это *онтологический поворот* к теологии без Бога. Во-вторых, *лингвистический поворот* с характерным смещением познавательного интереса в сторону языковых форм и структур гуманитарного мышления. И, в-третьих, *иконический поворот*, опирающийся на представления, что *образ* как таковой следует рассматривать в качестве универсальной структуры мировосприятия и мышления. Этот поворот предполагает, что искусство и литература, оперирующие образами, заслуживают самого серьезного внимания со стороны гуманитариев и что исследования конкретных художественных произведений, а также дескриптивно-аналитических возможностей художественного мышления являются важной магистралью гуманитарного познания. В результате третьего поворота литература оказалась едва ли не в центре социогуманитарного дискурса,

Бачинин Владислав Аркадьевич — доктор социологических наук, профессор. Адрес: 198207, Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 2, корп. 2, кв. 207. Электронная почта: nvbst@yandex.ru

что дало основания говорить даже о появлении у него такого свойства, как «литературоцентричность».

Если говорить о социологии и о ее отношении к этим методологическим трансформациям, то можно увидеть, что она также не исключает возможности сходных метаморфоз в своих дискурсивных структурах. Социологическое сознание, неспешно движущееся собственным путем, тоже проходит через определенные содержательные мутации, детерминируемые всё тем же глобальным переходом культуры в постмодерное состояние. И на этом пути ему еще предстоит обратиться к своим онтологическим основаниям и всерьез заняться языком и образами. В последнем случае, то есть применительно к иконическому повороту, весьма широкие перспективы открываются для развития такой области знания, как социология литературы.

Уже сегодня эта теория среднего уровня, предполагающая взаимодействия социологии и литературоведения, пребывает в средоточии двух встречных процессов, симметричных по сути, но различающихся динамикой и масштабами. Их тоже можно характеризовать в терминах *поворота* — как *социологический поворот в литературоведении* и *литературный поворот в социологии*. Первый уже вполне ощутим: достаточно лишь обратиться к проблематике статей в литературоведческих журналах последнего десятилетия. Что же касается второго, то о нем можно говорить пока лишь в вероятностно-предположительных категориях, что объясняется целым рядом обстоятельств.

У социологии всегда были не простые взаимоотношения с литературой. Она могла сближаться с ней, не слишком дорожа своей научно-академической идентичностью. Так происходило в России XIX века на ранних стадиях становления социологического знания, когда его собственные эпистемологические структуры были еще в состоянии младенческой гибкости. Социология могла и намеренно дистанцироваться от литературы, как бы интуитивно чувствуя в ней возможного конкурента и пытаясь не замечать ее незаурядных дескриптивно-аналитических возможностей. Так продолжалось практически до начала иконического поворота, который ныне заставляет социологию пересмотреть свое отношение к литературе. В настоящее время социологи уже не решаются критиковать литераторов за удаленность от «истинно научных» воззрений на социум и человека, за «странности» художественного познания с его образностью, метафорикой и прочими недискурсивными средствами. Напротив, социология обнаруживает готовность снизойти до дольного мира художественности, раскинувшегося у подножий высокой науки, и не прочь получить для себя хотя бы какую-то пользу от «прогулок по садам изящной словесности». Иными

словами, сегодня она фактически готова признать в литературе эффективный инструмент анализа социальной реальности [3].

Если исходить из принципа универсальности социального, из признания его повсеместного присутствия в жизненном мире человека, то следует признать правомерность социологического взгляда на что угодно, в том числе и на литературу. Подобно тому, как в любом артефакте можно отыскать философское содержание, так и социальное содержание, вызывающее интерес у социологического сознания, непременно присутствует в каждом атоме человеческой жизни и культуры. Каждый литературно-художественный текст, независимо от его мировоззренческих ориентаций и эстетических качеств, от первой до последней буквы погружен в социальность, пропитан ею. Он не в состоянии освободиться от социальности, как не может живой организм освободиться от текущей внутри него крови.

Поскольку литературные тексты творятся социальными субъектами, существуют только в социуме и, следовательно, обладают социологическим измерением, задача состоит только в том, чтобы обзавестись необходимым арсеналом аналитических средств по выявлению в том или ином фрагменте литературной реальности социологической информации, обладающей научной, культурной значимостью. Эту задачу и призван решать социолог литературы, располагающий широким спектром методологических подходов и проблемно-аналитических ракурсов.

Отечественную социологию подталкивает к переоценке своих отношений с литературой ряд примечательных обстоятельств, в том числе появление маргинальных текстов, художественных и одновременно социологических как по характеру содержащегося в них материала, так и по формам его презентаций. Произведения таких мастеров слова, как А. Платонов, А.И. Солженицын, А.Д. Синявский, А.А. Зиновьев и др., обладавших ярко выраженным социальным темпераментом, описывавших и анализировавших сложнейшие социальные реалии XX столетия, явно превосходили своей глубиной, пронизательностью и гражданской честностью теоретические работы основной массы современных им ученых — социологов, историков, философов. Эти тексты, являвшие собой образцы органичного единства образности и рационалистичности, свидетельствовали о высокой эпистемологической ценности социологического воображения литераторов, обладали богатейшими эвристическими ресурсами. Оказалось, что их можно читать как социологические исследования, поскольку образное мышление авторов смогло проникнуть в суть острых социальных проблем несравнимо глубже мышления профессиональных социологов. Перефразируя Ницше, утверждавшего, что самый честный философ — это писатель, можно сказать, что самыми

честными, тонкими и глубокими отечественными социологами второй половины XX века были талантливые литераторы, много сделавшие для развития совершенно особой отрасли социогуманитарного познания — художественной социологии.

* * *

Мир литературы — это совсем не поле, как утверждал П. Бурдьё, а скорее вселенная, беспредельный космос смысловых, ценностных, нормативных, образных, символических и прочих форм и структур. По отношению к этому миру возможно большое разнообразие познавательных подходов, где социологический — только один из многих. Но даже если сосредоточиться только на нем, то и в этом случае обнаружится открытое множество методологических средств, с помощью которых социологи могут продуктивно работать с литературно-художественным материалом. Кроме таких анонимных методов, как социологический историзм, институционализация, компаративистика, статистика, биографика и проч., имеются сугубо авторские методологические конструкты, прочно привязанные к таким именам, как, например, В. Беньямин, Ж. Батай, Ю. Кристева, П. Бурдьё, П. де Ман, Ю. Тынянов, М. Бахтин, Ю. Лотман и др. Их голоса перекликаются, аналитические векторы порой пересекаются, но при этом ни один из методов не универсален, не самодостаточен, а представляет собой нечто особенное, частное как по характеру познавательных задач, так и по роду используемых средств. Даже взятые все вместе, эти методы не покрывают всего проблемного пространства социологии литературы, которое поистине безгранично.

Поскольку в распоряжении современного социолога имеется довольно большой набор вполне добротных аналитических инструментов, из них всегда можно выбрать тот, что в наибольшей степени отвечает его исследовательским интересам. Кроме того, если ученый талантлив, то ничто не мешает ему создать собственную, авторскую методологическую конструкцию и апробировать ее в деле [10].

При наличии всех этих, достаточно широких, возможностей кажется странным то обстоятельство, что отечественные социологи весьма неохотно пользуются ими. Ведь даже беглый взгляд на тематику статей российских социологических журналов последних двух десятилетий убеждает, что исследования по социологии литературы представлены в них весьма скромно. Аналогичным образом обстоит дело и с тематикой диссертаций по социологии.

Можно предположить, что одним из препятствий является то, что социология литературы — это трудоемкая область знаний, имеющая междисциплинарный характер и требующая от специалиста двойной компетентности — как в области социологии, так и в области литературоведения. Последнее, в свою очередь, включает в себя теорию и

историю литературы, литературную критику и еще целый ряд конкретных субдисциплин. Все вместе они составляют обширнейшую информационную сферу, выступающую по отношению к социологии литературы областью предпосылочных, пропедевтических знаний. Между тем, нынешняя система социологического образования, в которой отсутствует специализация по социологии литературы, никак не способствует освоению этой сферы. Сказывается определенный прагматизм мышления чиновных стратегов развития науки, по-прежнему склонных отодвигать проблемы духовной жизни на периферию социологического познания и практически не реагирующих на присутствие в гуманитарной сфере артикулированного заказа на разработку проблем социологии литературы. В результате литературоведы, не уверенные в том, что социологи смогут им чем-то помочь, предпринимают самостоятельные попытки разрабатывать социологические проблемы литературного процесса, используя имеющиеся у них для этого возможности. Так возникает ситуация отнюдь не симметричного присутствия социологов и литературоведов в междисциплинарном пространстве отечественной социологии литературы.

* * *

Если мы зададим вопрос: *«чем интересна литература социологическому сознанию?»*, то ответить на него будет не слишком трудно. Как известно, социология, в силу особенностей своего грубоватого инструментария, не в состоянии проникать во многие важные социальные сферы, где требуются тонкость исследовательской интуиции и почти ювелирная филигранность аналитических операций. Поэтому литература для нее — это настоящий кладезь богатейшего социального материала, уже добытого, складированного и как будто только и ждущего, чтобы его переместили на территорию социологии, проделали работу по его концептуальной легализации, сделали полноправным компонентом социологического дискурса.

В одной из дискуссий на теоретической площадке журнала «НЛО» Б. Дубин задал вопрос: «Почему социологии вообще понадобилась литература — и, кстати, не ей одной?» Его же собственный ответ свелся к тому, что интерес к литературе и вообще к стратегиям смыслопорождения свидетельствует об исчерпанности ряда парадигм, которыми жили гуманитарные науки XX века: «Целый ряд европейских наук о человеке, которые родились в контексте XIX века как науки позитивные, с самого начала изгнав из себя субъективность, категорию смысла и т. д., к середине следующего столетия так или иначе возвращаются к идее культуры, проблематике понимания, категориям герменевтики. Даже те науки, которые как будто уже во все превратились в чисто описательные технологии, вроде географии, вдруг обнаруживают за своими привычными характеристиками

какие-то культурные константы, начинают ими всерьез заниматься — образами различных стран, представлениями о природе и проч. И история, которая какое-то время репрезентирует себя в качестве сугубо позитивной науки, также возвращается к идее субъективности, к идее культуры. Иначе говоря, здесь для социологии открывается целая система тоннелей, которую надо разрабатывать специально» [4].

Действительно, у интереса социологического сознания к литературе имеются серьезные культурно-исторические и эпистемологические основания. Социология, с ее позитивистской родословной и склонностью к методологическому абстрагированию от всех форм субъективности, уже давно сознает исчерпанность контовской парадигмы. Ей необходимо взаимодействие с той реальностью, которая прежде была ей недоступна (или неинтересна) и в пределах которой, по ее нынешним предположениям, сконцентрированы серьезные социокультурные ресурсы, достойные самого пристального внимания.

Б. Дубин резонно констатирует, что существующий ныне в российской культуре разрыв между социологией и литературой — концентратором уникального социального опыта — следует рассматривать как аномалию. Он указывает на формалистов 1920-х гг., попытавшихся двинуться навстречу социологии через обращение к концептам социального поведения писателя, литературного быта, литературной роли, биографии и др. В его рассуждениях обращает на себя внимание метод аргументации. Это логика апелляции к утраченным ценностям, к давно оставленным позициям, логика призыва к локальному методологическому ренессансу, к возрождению интереса к идее субъективности. И за всем этим стоит простая, почти азбучная истина: ученый и художник необходимы друг другу — в распоряжении каждого из них свой инструментарий, своя оптика. Поскольку социологической оптике присущи свои погрешности, из-за которых многие важные вещи либо ускользают, либо же схематизируются, «спрямляются», утрируются, то на помощь ей готова придти литературно-художественная оптика с ее способностью воспринимать социальную реальность глубинно, объемно, стереоскопично, во всем богатстве содержательных полутонов, герменевтических нюансов, смысловых переходов и ценностных оттенков.

Круг проблем, исследуемых социологией литературы, достаточно широк и включает самые разные аспекты духовно-практической жизни общества, так или иначе связанные с активным функционированием литературных текстов. В фокусе интересов социологического сознания могут оказаться самые разные факты литературной, околотекстовой и даже внелитературной жизни, воздействующие на литературный процесс [6]. Оно может быть нацелено на анализ различных типов и форм общественно-литературной реальности, социогенных

элементов литературных произведений, связей последних с социокультурными контекстами, зависимостей около- и собственно литературной жизни.

Учитывая это, следует, однако, помнить об опасности потеряться в пестроте литературной повседневности, потонуть в «мизерах» мелкотемья, утратить интерес к существенному и главному. Когда-то К. Манхейм выступил самым решительным образом против того, чтобы считать предметом социологии малозначительные события повседневной (в том числе литературной) жизни, всевозможные мелкие детали общения, всё то, что связано с общепринятыми вкусами и банальными предпочтениями. Что касается социологии литературы, то она никоим образом не должна сводиться к социологии литературных нравов. «Накопление существенных и примечательных деталей повседневной жизни, — пишет Манхейм, — далеко не всегда становится чем-то большим, чем простое собирание курьезов, когда каждый из предметов исследования не отбирается с учетом общей структурной схемы, общей картины вещей. Самым слабым местом во всей этой процедуре является, однако, тенденция придавать социальный характер лишь незначительным деталям будничной, повседневной жизни и отрицать его наличие в важных событиях или “репрезентативных” проявлениях культуры» [5, с. 55].

В литературно-художественных текстах много таких семантических, аксиологических и нормативных фигур, которые, при перемещении в социологическое дискурсивное пространство, выказывают свойства конвертируемости. Таковы, например, стереотипы (типы) социального поведения людей в разных ситуативных контекстах: от банально-повседневных до экстремальных и эпохально значимых. Литература, при всем ее тяготении к индивидуализации, при всей ее любви к частному и особенному, всегда выступала ловцом и фиксатором типовых моделей социального поведения человека. Социология здесь приходит на уже распаханное поле, и ей никто не воспрещает разумно, взвешенно и благодарно пользоваться имеющимся литературно-художественными работками и облекать в генерализирующие, типологизирующие, каузально-детерминированные формы то, что у художников слова прописано в деталях и сопровождается тонкими содержательными нюансировками.

* * *

Несмотря на разнородность литературы и социологии как двух самостоятельных культурных формообразований, невозможно отрицать некоторую предрасположенность обеих к взаимодействиям. Так, сами литераторы нередко обнаруживают склонность к социологически ориентированным рефлексиям. Кроме того, внутри литературного текста, при его кажущейся самодостаточности, всегда присутствует

определенная содержательная разомкнутость, служащая как бы вратами, приглашающими в гости социологическое сознание и освобождающими его от необходимости насильственного вторжения, совсем нежелательного в отношении с таким тонким и деликатным предметом, как художественное произведение.

На эти особенности взаимоотношений литературного текста и социологического сознания проливает дополнительный свет концепт «открытого произведения» Умберто Эко [9]. Его создатель предложил использовать данное понятие для обозначения таких свойств литературного текста, как способность его художественной структуры допускать внутрь себя некоторые проявления идущих извне семантических интервенций и вместе с тем сохранять свою внутреннюю смысловую и аксиологическую идентичность. Клубящийся вокруг текста информационный хаосмос, частично проникающий в его семантические и ценностные структуры, пробуждает в произведении адаптивные свойства и тем самым подготавливает его к взаимодействиям с интерпретаторами.

Данный концептуальный посыл важен не только для художественно-эстетического сознания, о котором рассуждает У. Эко, но и для сознания социологического. Для последнего он выглядит чем-то вроде пропуска в мир литературно-художественных текстов и может считаться приглашением к их социологическому анализу.

Поскольку каждый литературный текст, с присущей ему содержательной многомерностью, непременно располагает дискурсивно-социологической составляющей, то для социолога практически всегда существует интерпретационная возможность читать любое художественное произведение как социологический текст. Эта составляющая может быть либо растворенной в содержании, как у большинства литераторов, либо же откровенно обнаженной, намеренно выставленной на авансцену текста, как это имеет место, например, в социологических романах А. Зиновьева. Исследователю для ее изучения необходимо лишь найти или разработать соответствующие аналитические средства. При этом важно суметь использовать метод социологизма как адекватную интерпретационную стратегию.

Учитывая, что социология заявила о себе сравнительно поздно, когда практически вся обозреваемая на тот момент, то есть к середине XIX в., социально-историческая, социально-антропологическая реальность была уже распределена между существовавшими гуманитарными дисциплинами, вызывает некоторое удивление то, что всё это ничуть не помешало ей утвердиться, приобрести авторитет и успешно развиваться. Одной из причин ее победного шествия по уже занятым территориям можно считать то, что социология предстала в пространстве социогуманитарного дискурса в качестве *особого способа интерпретации* как отдельных социальных реалий, так и всей

социальной реальности в целом. Этим, вероятно, и объясняется то, что предрасположенность к созданию социологических штудий стали обнаруживать интеллектуалы, принадлежавшие к самым разным профессиональным сообществам, — философы, историки, правоведы, экономисты, литераторы, публицисты и даже теологи. Для этого им не надо было приобретать социологического образования, система которого в то время отсутствовала. От них требовалось только одно — взглянуть на привлечший их внимание фрагмент социальной реальности под определенным углом зрения и суметь особым образом истолковать увиденную картину, по-новому проинтерпретировать рожденные ею впечатления и мысли. Создать такие дескриптивно-аналитические конструкции, смысловые, ценностные и нормативные структуры, на сотворение которых не доставало эпистемологических ресурсов у теоретического сознания, пребывавшего в привычных рамках несоциологических социогуманитарных дисциплин.

Эта интерпретаторская активность носила во многом инновационный характер и опиралась на две существенные методологические предпосылки. Во-первых, на представления, что в содержании каждой смысловой и ценностно-нормативной структуры присутствует нечто объективное по своей сути и потому имеющее научное значение. Во-вторых, на представления о праве познающего субъекта на творческую свободу в выстраивании собственной модели познаваемого объекта. В результате образовывалось эпистемологическое пространство, где допускалось и приветствовалось реконструирование тех смыслов, которые принадлежали социальной реальности и получали название социологических. При этом смыслы нельзя было считать только продуктами взаимодействия текстов, контекстов и читателей. В них всегда обнаруживалось нечто, существующее вне зависимости от чьих-либо попыток его истолковать и обладающее не только относительным, но и абсолютным содержанием.

* * *

Вероятно, «самым социологическим» из всех социологических подходов к литературе следует считать институциональный подход, позволяющий интерпретировать литературную реальность в свете категорий, обозначающих макросоциальные структуры общества, государства, социального контроля, литературно-гражданской жизни и др. Поскольку литература в Европе стала обретать полноту признаков социального института с конца XVIII в. (то есть с того времени, когда начал все более явно обозначаться конец традиционного общества), этот институциональный генезис оказался тесно связан с процессом становления нормативно-ценностных структур гражданского общества, с надвигающейся сменой типов доминирующей нормативности, с отступлением исторических форм традиционной религиозности под напором секуляристских тенденций. Именно в этот

период стали возникать сообщества писателей и поэтов, а вместе с ними и институт публичных (салонных, кружковых, журнальных) дискуссий между литераторами и общественностью, что можно считать началом литературно-гражданской жизни.

В России литература обрела признаки социального института повышенной общественной, культурной значимости лишь в XIX в. Под влиянием процесса секуляризации церковь фактически переместилась на периферию социокультурного пространства. Часть принадлежавших ей прежде социализирующих полномочий перешла к литературе, которая стала влиятельным средством развития культурного, национального, гражданского самосознания, общественной трибуной для обсуждения и распространения самых разных идей и умонастроений.

Институциональное своеобразие литературы состоит в том, что ее основным материалом является язык, текст, а главным инструментом социальных воздействий — художественное слово, позволяющее воссоздавать разнообразные события социальной, духовной жизни, описывать характеры и поступки, чувства и мысли людей, изображать сложнейшие оттенки их взаимоотношений, состояний индивидуального и общественного самосознания.

Литературный текст, прежде чем он будет признан в качестве социально значимого феномена, способного выполнять функции социализации, должен пройти обязательную социальную экспертизу, осуществляемую издателями, критиками, читающей публикой. В отдельных случаях общественное сознание даже может допустить его до роли генератора нормативных образцов социального поведения. Последнее обстоятельство заставляет вспомнить об известном тезисе Т. Парсонса, утверждавшего, что функция сохранения образцов-ориентиров социальной деятельности является для системы одной из самых важных и выступает залогом ее успешного существования. Эта мысль проливает свет на тайну непреходящей значимости многих фрагментов (произведений, героев) литературной реальности, на их способность на протяжении длительного времени выполнять самые разные функции — воспитания, самопознания, социального контроля, конструирования средств индивидуальной самоидентификации, трансляции социального опыта и др.

* * *

В XIX веке, когда социология литературы находилась в эмбриональной фазе своего развития и пребывала в лоне общей социологии, ей досталось богатое интеллектуальное наследство, освещающее различные грани социальной жизни литературных текстов. В процессе отпочковывания той ветви социологического знания, которая в итоге обрела статус социологии литературы, важную роль сыграли философско-литературные идеи европейских мыслителей — от Аристотеля

до Гердера и Гегеля. Одним из первых, кто попытался конвертировать корпус этих идей в идеи социологические, стал Ипполит Тэн, принадлежавший и к литературоведам, и к социологам. Ему удалось отчетливо прописать право исследователя на социально-детерминистский подход ко всем формам литературно-художественной жизни [7]. Рассматривая каждое литературное произведение как социальный факт, Тэн полагал, что из совокупности этих фактов можно выстраивать научную модель всей системы общественно-литературной жизни, связанную воедино множеством причинно-следственных зависимостей. Он обнаружил, что эти зависимости столь несомненны, что малейшее изменение в сфере причин способно повлечь за собой серьезные трансформации в литературном мире.

Опираясь не только на принцип физикализма, но и на гётегелевскую категорию *духа времени*, Тэн предпринял попытку использовать литературные произведения как опорный материал, пригодный для изучения человеческого общества и отношений между людьми. Следуя за Спенсером, он утверждал, что литература связана с обществом так же, как растение с породившей его почвой. Эта связь не является простой и непосредственной; она опосредована, во-первых, идеями, нравами и психологией своей эпохи, во-вторых, влияниями литературно-художественных школ, и в-третьих, своеобразием творческих стилей и манер конкретных художников. Кроме того, на литературно-художественную жизнь воздействуют и такие факторы, как особенности пережитых народами исторических, социальных, политических событий, сложившихся национальных характеров, а также общие условия повседневного существования.

Важное место Тэн отвел понятию среды, которую трактовал чрезвычайно широко, включая в нее как естественные, так и социальные детерминирующие факторы — климат, ландшафт, общественные условия, политические обстоятельства и т. д. И хотя ему не удалось избежать острой критики со стороны современников, упрекавших его в том, что за пределами его теории остались такие проблемы, как *самодетерминация* и *бессознательная детерминация* литературного творчества¹, концепция оказалась востребована и использовалась в самых разных социокультурных контекстах. И по сей день

¹Так, Г. Флобер, размышляя о методе Тэна, писал: «Очень тонко анализируется среда, породившая [произведение], причины, которые привели к тем или иным выводам; а где же подсознательная поэтика? Откуда она происходит? Где композиция, стиль? Где точка зрения автора? Этого нигде нет... Меня всегда возмущает, что на одну доску ставятся шедевр и любая гнусность. Мелкоду превозносят, а великое принижают; ничто не может быть глупее и аморальнее» [8, с. 242].

она и пребывающий в ее центре принцип социального детерминизма фактически господствуют на самых нижних, учебно-хрестоматийных уровнях теории литературы и социологии культуры.

В XX в. конструкция детерминистского принципа вместе со стратегиями его применения к литературной реальности чрезвычайно усложнились. Это хорошо видно на примере литературно-социологической концепции М.М. Бахтина. Трактую тему среды несравнимо глубже, чем Тэн, он писал: «Задача заключается в том, чтобы {вещную} среду, воздействующую механически на личность, заставить заговорить, то есть раскрыть в ней потенциальное слово и тон, превратить ее в смысловой контекст мыслящей, говорящей и поступающей (в том числе и творящей) личности. В сущности, всякий серьезный и глубокий самоотчет-исповедь, автобиография, чистая лирика и т. п. это делает. Из писателей наибольшей глубины в таком превращении вещи в смысл достиг Достоевский, раскрывая поступки и мысли своих главных героев. Вещь, оставаясь вещью, может воздействовать только на вещи же; чтобы воздействовать на личности, она должна раскрыть свой {смысловой потенциал}, стать словом, то есть приобщиться к возможному словесно-смысловому контексту.

При анализе трагедий Шекспира мы также наблюдаем последовательное превращение всей воздействующей на героев действительности в смысловой контекст их поступков, мыслей и переживаний: или это прямо слова (слова ведьм, призрака отца и проч.), или события и обстоятельства, переведенные на язык осмысливающего потенциального слова» [1, с. 366–367].

У Бахтина принцип детерминационного воздействия среды на автора и на текст дополняется принципом контекстуализации. В результате использования такого конструкта, как *смысловой контекст*, возникает идеальная реальность с чрезвычайно сложной содержательной конфигурацией и бесконечным разнообразием возможных форм. Внетекстовые интеллектуальные формы рождаются в точках соприкосновений разных сознаний, существуют в режиме intersubjectivity, оплодотворяются самыми разными идеями, испытывают воздействия множества сознаний и голосов: доносящихся из прошлого и настоящего, официальных и неофициальных, сильных и слабых, раздающихся с властных вершин и «из-под глыб». Крайне изменчивые в историческом времени и социальном пространстве, диалогизирующие и конфликтующие между собой, придающие литературным текстам всё новые звучания, эти идеальные конструкты выступают в качестве медиаторов, передаточных звеньев, механизмов детерминации. Они препятствуют застылости литературы на окончательных истинах, напитывают литературную реальность крайне противоречивой и едва ли не избыточной интеллектуальной энергетикой, участвуют в

создании грандиозной духовной драмы мирового масштаба с открытым, никому не ведомым финалом.

Человеку как создателю литературных текстов, участнику этой драмы, автору, режиссеру и актеру необходимы внутренние и внешние диалоги в силу его потребности в активном взаимодействии с социумом, из-за его принципиальной несамодостаточности, неготовности принять онтологию одиночества. Ему важно максимально глубокое понимание сути связей с социальным контекстом и включенными в него механизмами необходимости и свободы. И он готов видеть в актах создания текстов суть и смысл своего социального и духовного существования, готов брать на себя всю меру ответственности за то, что создает.

Таким образом, уже само выявление конструкта смыслового контекста и признание его определяющей роли в социальном существовании литературной реальности поставило перед социологами литературы задачу поиска качественно новых аналитических инструментов, заставило их задуматься о необходимости пересмотра своих взаимоотношений с сопредельными социокультурными дисциплинами, о желательности серьезного методологического перевооружения.

* * *

На рубеже эпох модерна и постмодерна с концепцией своеобразного синтеза институционального и детерминистского подходов к литературе выступил Пьер Бурдьё [2]. Его исходный тезис выглядел следующим образом: агенты, занятые литературным производством, пребывают в соответствующем социальном пространстве или социальном поле. В данном случае это литературное поле — сеть объективных отношений между позициями. Оно имеет сложную структуру, подчиняется своим собственным законам функционирования и трансформации. Внутри этого поля существуют силы, институты, индивидуумы, которые по-разному воздействуют на людей, вступающих в его пределы.

Поскольку литературное поле — это мир, пораженный теми же пороками и язвами, что и большой социальный мир, его агентам (а ведущее место среди них занимают писатели) присущи те же качества, что характеризуют бизнесменов и политиков: эгоизм, корысть, тщеславие, гордыня. Социальные агенты литературного поля контактируют между собой, ведут разнообразные игры, соперничают, борются за легитимацию своих литературно-художественных новаций. У каждого из них имеются свои векторы действий, преимущества и трудности, достижения и препятствия. Между ними вспыхивают молниеносные конфликты и ведутся затяжные позиционные войны. Они могут никогда не встречаться, игнорировать существование друг друга и в то же время быть прочно связанными

отношениями взаимоотрицания с их крайней жесточенностью и почти дарвиновской конкуренцией.

Чтобы придать всем этим, в общем-то, банальным констатациям теоретическую основательность, Бурдьё ввел концепт *габитуса*, надеясь с его помощью несколько подновить старые конструкции традиционных для социологии институционально-детерминистских подходов. Габитус у него обозначает некий глубинный психический, ментальный пласт — культурное бессознательное, пребывающее между онтологической реальностью мира и субъективной реальностью творческого «я» писателя. Габитус обеспечивает органичную «сцепку» этих двух типов реальности, позволяя им согласованно сосуществовать и успешно взаимодействовать, придавая человеческим мотивам, словам, и действиям определенную направленность. Концепт габитуса позволял Бурдьё объяснять то, как разные, казалось бы, внешние социальные обстоятельства, разные исторические времена и общественные сферы производят сходные типы, идентичные модели социального поведения писателей, издателей и читателей. Так, рассуждая о становлении писателя как социально значимой фигуры, Бурдьё вычленил из гигантской массы причинных факторов и детерминирующих обстоятельств ограниченное число позиций. Во-первых, социальное происхождение и детерминированные им социально конституированные свойства. Во-вторых, занятые писателем позиции, обусловленные определенным состоянием литературного поля. И в-третьих, конкретные культурные продукты, обусловленные занимаемыми позициями.

Соответственно и литературное произведение предстает у Бурдьё как объект не просто социально детерминированный, но и социально институционализированный в качестве произведения искусства, то есть признанный таковым читателями, которые обладают эстетической компетентностью, приобретший легитимность благодаря их публичным вердиктам.

Примечательно, что конструкция Бурдьё, при всех попытках ее создателя вырваться в новое концептуальное пространство, существенно раздвинуть эвристические горизонты социологии литературы, не отменяет ее ключевых методов, институционального и детерминистского, а напротив, берет их за основание воздвигаемой теоретической конструкции. Эта эпистемологическая ситуация поучительна, поскольку указывает на то, что даже наиболее крупные из постмодернистски ориентированных социологов современности не пытаются опрокинуть все прежние наработки, что всегда остаются некие базовые методологические стратегии, отклониться от которых не считает для себя возможным ни один социологический авангардист, дорожащий своей дисциплинарной идентичностью.

Другой, не менее значимый, вывод состоит в том, что указанные базовые стратегии развития социологии литературы, сколько бы детально они ни были проработаны, всегда оставляют самый широкий простор для методологических новаций, даже если они обретают вид эпистемологических экспериментов и рискованных игр социологического воображения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бахтин М.М.* К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
2. *Бурдьё П.* Поле литературы // Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с франц. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005.
3. *Гудков Л., Дубин Б., Страда В.* Литература и общество: Введение в социологию литературы. М.: РГГУ, 1998.
4. Круглый стол «Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии» // Новое литературное обозрение. 2006. № 82 [online]. Дата обращения 15.08.2011. URL: <<http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/ku5-pr.html>>.
5. *Манхейм К.* Избранное: Социология культуры / Пер. с англ.: Л.Ф. Вольфсон, А.В. Дранов; Отв. ред. Л.Т. Мильская, Е.О. Пучкова. М.–СПб.: Университетская книга, 2000.
6. *Рейтблат А.И., Фролова Т.М.* Книга, чтение, библиотека: Советские исследования по социологии чтения, литературы, библиотечного дела 1965-1985 гг. Аннотированный библиографический указатель. М.: Гос. библиотека СССР им. В.И. Ленина, 1987.
7. *Тэн И.* Философия искусства / Пер. с франц. А.Н. Чудинова [по изданию 1904 г.]. М.: Республика, 1996.
8. *Флобер Г.* Письма 1850–1880 // Флобер Г. Собр. соч. в 10 т. Т. 8. Письма: 1855–1880. М.–Л.: Гослитиздат, 1938.
9. *Эко У.* Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике / Пер. с итал. А.П. Шурбелева. СПб.: Симпозиум, 2006.
10. *James F.* Everywhere and nowhere: The sociology of literature after “the sociology of literature” // *New Literary History*. Spring 2010. Vol. 41. No. 2.